МИРОВАЯ ЛАВКА АРИЭЛЬ ТОМ 1. ДОЧЬ ПРАЧКИ

Amara Vey

Мировая лавка Ариэль. Том1. Дочь прачки.

«Автор»
2026

Vey A.

Мировая лавка Ариэль. Том1. Дочь прачки. / A. Vey — «Автор», 2026

«Всё нужное останется. Всё остальное — уйдёт само». Так ей сказал голос без лица — в ту секунду, когда стёрли её имя.Она умерла в 7:58 утра — и родилась заново: дочерью прачки в городке, за холмами которого стоит лес, что не пускает людей в глубину. Внутри неё — сорок лет чужой памяти и ни одного имени, которое она может назвать.А потом в городке появилась лавка, которой здесь никто не видел раньше. Той, кто умеет считать, не нужен герой с мечом. Ей нужен товар, покупатель — и время, чтобы вспомнить, кем она была.Но лавка берет свою плату....

© Vey A., 2026
© Автор, 2026

Amara Vey
Мировая лавка Ариэль. Том1. Дочь прачки.

МИРОВАЯ ЛАВКА АРИЭЛЬ
Том 1. Дочь прачки

ГЛАВА ПЕРВАЯ
СОРОК ЛЕТ

Есть смерти, которые никто потом не объяснит. Вот такая. Семь часов пятьдесят восемь утра. Перекрёсток. Чужая ошибка. И ни одного свидетеля, который успел бы крикнуть.

В 7:58 утра сорокалетняя женщина узнала, что стоит на красный.

Не «красный свет светофора» — вот этот, конкретный, на пересечении, где она не должна была оказаться. Её развернуло за пять минут до этого: что-то мелкое, несбережённое, что она уже никогда не вспомнит. Пять минут назад. Пять минут.

Ей всегда говорили: судьба — это привычки. А привычки — это маршруты.

Значит, изменила маршруту — изменила судьбе.

Ей было сорок, и она была одна.

О том, что в её квартире сейчас никто не сидит в ожидании, она успела подумать. О деле, которое останется без владельца. О звонке, который не был принят. Мысли успели пройтись по всему, что было, — и не назвали ни одного имени. Так бывает, когда списка слишком много: глаза скользят, не задерживаясь.

Машина шла на неё.

Она поняла это за полторы секунды — не по звуку, а по тому, как фары расползлись в пятно белого света.

Она успела ещё и улыбнуться — потому что поняла: самые важные встречи в её жизни уже прошли, все несостоявшиеся — тоже. Осталось только это — белое и страшное, растущее напротив.

Фары погасли.

Белизна.

Не пол, не стены — белое везде, и в этом белом не было ни света, ни темноты. И голос — не со стороны, а как будто внутри: спокойный, скучающий, как у чиновника, открывающего сорок тысячную по счёту папку.

«Случай зарегистрирован. Возраст — сорок. Родственники: отсутствуют. Причины возврата: отсутствуют. Протокол: положительный. Оценка опыта: высокая».

Пауза. «Приступаем к настройке».

— Настройке чего? — спросила она. Голос ещё не привык к тому, что у него есть.

«Всё нужное останется, — сказал голос. — Всё остальное — уйдёт само».

Она хотела спросить, что он называет «нужным». Хотела назвать себя — хотя бы себе, для порядка: меня зовут…

Не успела. Слово ушло у неё из-под пера так, как уходит вода из ладони: было — и нет. Только белое, и сквозь белое — уже новый звук: дальний, глухой, тёплый, как толчок сердца.

Голос уложился в это последнее мгновение:

«Начнём заново».

Первое, что она услышала во второй жизни, был дым.

Второе — холод, пробирающийся сквозь грязные щели в бревенчатой стене.

Третье — женщина, которая качала её на руках и пела песню, каких она никогда не слышала: про то, что зима кончится, дрова дорастут, а весна всё смоет.

Она не знала, кто она. Не знала, кем была до этого белого. Не знала даже, сколько ей было — сорок лет знали свет и протокол, а не она.

Она знала только одно: над ней поют. И впервые за очень долгое время — столько, сколько не помнила, — это было достаточно.

Дымный Брод. Новорождённая дочь прачки.

Но это — уже другая глава.

* * *

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

*

ГЛАВА ВТОРАЯ
ДОЧЬ ПРАЧКИ

В Дымном Броде не было ни церквей, ни судей — был лес, и лес судил. В ночь, когда дочь прачки родилась, лес закричал трижды, и старая повитуха впервые за сорок лет испугалась не за роженицу — за что-то ещё.

Дочь прачки родилась в ночь, когда в лесу закричали стонники.

Старуха-повитуха потом клялась всем соседкам: за сорок лет ни одного такого не слышала. Стонники кричали редко — раз в несколько лет, когда кто-то слишком жадно шёл за дровами. А тут — три крика подряд, один громче другого, и последний такой, что в горле у роженицы что-то дрогнуло.

— Не к добру, — сказала повитуха и затопила печь глубже.

Сельма не ответила. Она смотрела на дочь.

Девочка не плакала. Она смотрела в ответ — тёмными, слишком спокойными для новорождённого глазами, и Сельме на секунду показалось, что её только что внимательно изучили. С головы до ног. И вынесли решение.

Плакать она могла только одним способом — по-младенчески. Хуже всего было то, что это работало.

— Дитя молчаливое, — пробормотала повитуха и перекрестилась нечистой рукой.

Сельма перекрестилась тоже. А потом взяла дочь на руки и прошептала имя, которое держала про себя с той самой ночи, когда узнала, что беременна:

— Ариэль.

Дымный Брод просыпался от холода, а не от петухов.

Зимой и осенью — от холода всегда. Летом — от дыма: бревенчатые дома топились сырыми, скупыми ветками, потому что настоящих дров здесь почти не было. Лес за холмами принадлежал стонникам — живым деревьям со стволами, как перекрученные канаты, и корнями, которые в тишине слышались под землёй, как чужое дыхание. Стонники не пускали людей в глубину. Те, кто заходил слишком далеко, возвращались — иногда. Их находили на опушке, седых, с белыми глазами, шепчущими про корни и «песню снизу».

Стонник внешне не похож ни на дуб, ни на ель: ствол у него перекручен, как канат, свитый из трёх верёвочных жгутов, с трещинами-щелями в коре, сквозь которые в тихую погоду слышно, как дерево дышит. Корни стонников уходят под землю на глубину колодца и тянутся между деревьями, как жилы. Шаг вглубь леса слышен всем — потому и пошло в Дымном Броде «правило трёхсот шагов»: дальше трёхсот шагов от опушки не ходит никто, даже барон с облавой.

Поэтому дрова были валютой. Хуже золота — золото в Дымном Броде видели только на ярмарке в Дорэне, а дрова нужны были каждый день.

Сельма платила за них неделями стирки. В доме барона Олдрика, на отшибе, стояла прачечная: три корыта, ледяная вода из ручья и каменный пол, от которого пальцы синели к полудню. Она уходила туда до света и возвращалась после темноты. Дети оставались одни.

Прачечная стояла отдельно, на отшибе, — три корыта, вырубленные в каменном полу, чан на цепи над очагом и два журавля-колодца, из которых вода шла ледяная даже в июле. Пары висели под потолком и оседали на брёвна инеем; к полудню пальцы стиральщиц синели так, что иглы было не поднять. Сельма называла это место «вторым домом» — и была права: за четырнадцать лет она прожила в нём больше ночей, чем за родной печью.

Тайо, семь лет, старался за троих: носил воду, дёргал старшую сестру Миру за косу, если та капризничала, и бормотал трёхлетней Рен сказки, которые сам наполовину выдумывал. Мира приглядывала за малышкой. А малышку из них всех — за новорождённой Ариэль.

Отец. Об отце в доме не говорили.

— У тебя есть братья и сёстры, — только это говорила Сельма, и лицо у неё делалось такое, что Тайо замолкал на полуслове. — Этого достаточно.

Соседи шептались по-своему. Кому-то чудилось знатное лицо у Сельмы в молодости; кому-то — столичный бархат, который она зачем-то продала в год приезда. Барон Олдрик однажды слушал эти разговоры дольше, чем следовало, и ничего не сказал. Он вообще мало что говорил.

Ариэль росла странной.

Не болела. Не хныкала. Спала, как взрослый человек, — глубоко и мало, и в полугода её часто находили не спящей, а просто смотрящей в потолок, как будто она решала что-то очень важное.

И росла она красавицей. Так, что соседи неловко отводили глаза.

К двум годам у неё отросли волосы — густые, чёрные, до самого пола. Не золотистые, как у детей с ярмарки, не рыжие, как у дочки мельника, — а чёрные с синевой, какие в этих краях не росли ни у кого. Пряди спадали ниже пояса и тащили за собой всю грязь Дымного Брода: без мыла их не мыли — мыли щёлоком из золы, от которого волосы становились жёсткими, как солома, а кожа ребёнка горела.

Сельма жалела дочь, как умела. Раз в месяц, в большой день, она расчёсывала чёрные волосы деревянным гребнем — долго, тихо, напевая ту самую песню про весну. Ариэль сидела неподвижно и слушала. Эти минуты были для обеих единственной роскошью в доме, где не было даже лишнего полена.

А потом Ариэль открыла глаза — по-прежнему тёмные, слишком взрослые — и посмотрела на своё отражение в тазу с водой.

Растрёпанные сцепленные пряди. Серая кожа с расчёсами. Треснувшие губы.

«Так вот какая я сейчас, — подумала она. — Кукла, которую забыли в углу».

Она не знала, кому принадлежал этот голос. И кого он называл «сейчас» — тоже не знала. Будто в доме, где она жила, была ещё одна комната — запертая, со свечой внутри, — и она ходила мимо двери, чувствуя сквозняк из-под неё.

И где-то в глубине её — тихо, как тикают часы в опечатанном доме, — шевельнулось что-то. Не память. Пока — только ощущение: она забыла что-то очень важное.

И забыла — что именно.

Стонники замолчали к рассвету — так резко, будто услышали решение. Когда-нибудь они замолчат по другой причине: от радости. Но сейчас никто в Дымном Броде этого не знал.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ

Память вернулась не сразу — и не вся.

В ночь первого настоящего мороза, без предупреждения, как будто кто-то внутри неё щёлкнул выключателем, Ариэль открыла глаза в темноте под стрехой — и увидела белое.

Не пол, не стены, не свет и не темнота: белое везде, без краёв. И голос — не со стороны, а как будто внутри: спокойный, скучающий, как у чиновника, открывающего сорок тысячную по счёту папку.

«Начнём заново», — сказал он.

Значит, было что-то, что нужно начинать заново. Что — она не знала.

Этого осколка хватило, чтобы всё в ней перевернулось. Она лежала, не дыша, и понимала простую, невозможную вещь: это не первый раз, когда она просыпается.

Где-то была другая жизнь. Там был голос. Там было белое.

И там она умерла.

Как умерла — она не знала. Кем была — не знала. Даже имени своего, прежнего, — не знала. Имя было: она чувствовала его, как подпись на конверте, у которого стёрли адрес. Подпись стоит — а на что рассчитывать, неизвестно.

Она проверила себя. Прошлась вниманием, как бухгалтер по колонкам.

Считать — умела. Не учили, а умела.

Знать цену вещи по весу — умела.

Держать спину ровно, будто за плечами стоит учитель, которого она не помнила, — умела.

И где-то на складе, ключи от которого потерялись, лежали рецепты. Она не могла их перечислить — но знала, что они есть. Как знаешь, что в доме есть вода: не глядя в бачок, просто — знаешь.

Она помнила действия. Не помнила сцен.

Из жизни вынули всё, что можно рассказать, и оставили то, что делают руки.

Речь она понимала сразу, целиком, как будто язык ложился в голову, вода в форму. Соседи за стеной спорили про цену дров; Тайо бормотал Рен сказку, наполовину выдуманную, — и Ариэль могла бы продолжить её за него слово в слово.

Пробовала писать. Углём, на половице, тайком от всех: буквы выходили кривые, косые, ползучие. Рука двухлетней девочки не держала ничего. Она смотрела на каракули и впервые за эту жизнь злилась.

Голова была взрослой. Чьей — неизвестно.

Список она составила в ту же ночь. Про себя, без бумаги: память она держала как сейф — есть, и всё.

Умею считать. Не знаю почему.

Умею торговаться. Не знаю где.

Не умею терять голову. Не знаю, где этому научилась.

Имя — есть. Какое — нет.

А потом она увидела, как стирает мать.

Это случилось через неделю. Ариэль, вцепившись в подол, дотащилась до баронской прачечной — и пожалела на всю вторую жизнь. Три корыта. Ледяная вода из ручья, мутная, с палой листвой. Щёлок, который не отстирывал, а сдирал. Руки Сельмы — в трещинах, у ногтевых лож — тёмные, до крови.

Мать работала с рассвета до темноты и ни разу не пожаловалась.

«И это та женщина, — думала Ариэль, сжимая кулачки, — которая после смены сидит у моей колыбели и всё равно поёт. Такого в её прошлой жизни не было никогда».

Она остановилась на этом слове.

Прошлой.

Откуда оно взялось, она не знала. Но слово стояло прочно, как стул, — и село так естественно, будто занимало это место всегда.

В ту же ночь она твёрдо решила: всё поменяется. Но сначала — деньги.

И в ту ночь, на границе сна, она впервые увидела полки. Бесконечные, уходящие в темноту полки.

«Меня звали…», — сказала она темноте.

И не смогла продолжить.

Темнота впервые ответила тишиной обещания: эта жизнь не будет как прежняя.

Какая была прежняя — она узнает. По кусочку. Со временем.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

*

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИРОВАЯ ЛАВКА

Полки не ушли со сном.

На четвёртую ночь Ариэль села на своей лежанке, закрыла глаза и мысленно произнесла: «Открыть».

Она не помнила, откуда знает это слово. Знает — и всё. Как знаешь, что у тебя есть сердце: по удару, а не по чертежу.

И лавка открылась.

Не за дверью. Не в доме. Она открылась там, где у людей живут мысли.

Перед глазами — из темноты её собственной головы — вспыхнул свет. Белый, мягкий, как утро после долгой зимы. И в этом свете проступила витрина: бесконечная, без конца и края. Полки высились выше неба, и каждая светилась изнутри — тихо, как окна в домах, где не спят.

Она сделала шаг — и полки отступили сами, будто она шла по ярмарке без толпы, без шума, без торговцев. Только она. Только свет.

Стеллажи с продуктами: соль, перец, сахар, чай, мука, крупы. Мыло и порошки. Ткани. Инструменты. Аптечка — от пластырей до того, о чём в этом мире не имели слов. Дальше — полки, от которых у любого здешнего человека выпали бы руки: фонарики, горящие без огня; коробочки, греющие лучше печи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.